

падение

Anne Provoost

An extract

Original title Vallen
Publisher Houtekiet, 2014

Translation Dutch into Russian
Translator Irina Leichenko

© Anne Provoost/Irina Leichenko/Houtekiet/Flanders Literature – this text cannot be copied nor made public by means of (digital) print, copy, internet or in any other way without prior consent from the rights holders.

В тот момент, когда Кэйтлин подвозят к дому, я стою у дороги. Никто не сообщал мне, когда ее выпишут из больницы, но у меня предчувствие, и я болтаюсь тут уже целое утро. Слоняюсь туда-сюда, обрываю едва зажившими пальцами пожухлые головки гераней на подоконниках, скатываю подошвами ботинок зазеленевшие после дождя травинки в бурые колбаски. Из-за густой завесы облаков кажется, что заросший плетистыми розами дом и монастырь у подножья холма накрыты огромным брезентовым навесом. В глаза бросаются открытые ставни. Все лето они оставались запертыми, не впуская солнечные лучи. Теперь влажный воздух свободно врывается внутрь.

Когда «скорая» проезжает мимо, я стою спиной к дому, внутри поворота дороги. Из-за ветра и шелеста листьев я не слышал ее приближения. Машина выезжает из-за поворота и медленно взбирается по склону, мотор низко урчит на второй скорости. Я могу не спеша заглянуть в окна. Кэйтлин не лежит сзади на носилках, как три недели назад, когда ее увозили под вой сирен. Она сидит справа от водителя, уверенно глядя перед собой, словно езда на скорой помощи для нее – привычное дело. («Не пойму я тебя», – как-то признался я ей. Она слегка обернулась и ответила: «Когда все время вынужден переезжать, перестаешь заводить новых друзей.»)

Шофер осторожно поворачивает. Я слежу за машиной не только глазами и головой, но всем телом: медленно оборачиваюсь вокруг своей оси, свесив руки по бокам и слегка вытянув подбородок. Неожиданно я встречаюсь с Кэйтлин взглядом. Мне хочется кивнуть, подмигнуть ей или что-нибудь крикнуть, но мое лицо каменеет. Она смотрит на меня, как смотрят из окна проезжающей машины на какое-нибудь здание или незнакомого прохожего, до которого тебе нет никакого дела. Вид у нее самый обычный, ничего особенного, если не считать желтоватого цвета лица. Она сидит прямо и тянет шею, как водяная птица перед взлетом. Я знаю, как она говорит и как двигается при этом. Я представляю себе, как она смотрит на что-то, потом, моргнув, оборачивается и переспрашивает: «Что ты сказал?». Она сидит в машине, как

самая обычная девчонка: девчонка, которая съезжает со склона на велосипеде и забирается обратно пешком, девчонка, которая в жаркий день по колено залазит в пруд и ни с того ни с сего, внезапно завопив, навзничь падает в воду, девчонка, которая без маминого разрешения садится за руль, чтобы прокатиться среди холмов, и вопит: «Черт, тормоза заело!».

Наши взгляды пересекаются не дольше, чем на полсекунды, – я отвожу глаза куда-то вдаль, а Кэйтлин упирается взглядом в дорогу, – но кажется, что это мгновение длится вечность. Я вдруг ясно вижу себя со стороны, как я стою тут, в джинсах, в ботинках на босу ногу, вытянув шею, чтобы получше ее рассмотреть. Мои ладони все еще перевязаны в некоторых местах. Я потираю пальцы друг о друга, чтобы почувствовать боль, но раны подсохли и почти зажили. Я замечаю лишь бесчувственность вокруг ногтей и какую-то бархатистую сверхчувствительность там, где раны затянулись. Внезапно я понимаю, зачем стою здесь вот так, напоказ: я хочу вести себя так, будто мне не стыдно за случившееся.

Белый автомобиль исчезает за деревьями, и я обхожу дом. Мать переносит садовые стулья под навес и накрывает подушки полиэтиленовыми чехлами; я ничего не говорю ей. Захожу внутрь, поднимаюсь по лестнице в задней части дома и вхожу в спальню, которая раньше принадлежала дедушке. Я закрываю за собой дверь, и, услышав, как мать возвращается в дом, поворачиваю ключ в замке. Посреди комнаты стоят два чемодана, в которые я утром сложил свои вещи. Переставляю их к стенке. Затем пытаюсь бесшумно пододвинуть письменный стол к слуховому окну, но это почти невозможно: половицы неровные, а стол тяжелый. Его ножки со скрипом царапают пол. Я залезаю на стол и сквозь проем в листве смотрю на монастырский двор.

Как раз вовремя. «Скорая» въезжает во двор, сбавляет скорость и останавливается. Водитель выходит, почти выпрыгивает из кабины, словно кичится своим здоровьем. Едва ли не вприпрыжку он огибает машину и открывает дверь со стороны Кэйтлин. Сначала он достает два серых костыля и прислоняет их к открытой дверце. Затем подставляет левую руку. На его белом рукаве появляется рука Кэйтлин. При виде этого ее движения волосы у меня на затылке встают дыбом. На мгновение мне чудится, что она дотрагивается до моей руки. Я знаю, что ее ладони всегда прохладные, никогда не потеют, будто она регулярно держит их под струей холодной воды: я касался их почти каждый день, когда мы спускались по пастушьей тропе в нижний город и перелезали через утес Шаллона, чтобы срезать путь.

Водитель помогает Кэйтлин выйти. Пока она с трудом выбирается из кабины, я не замечаю ничего необычного. Несколько секунд я верю, что все каким-то образом кончилось хорошо. Но тут Кэйтлин слегка оборачивается. Стоя лицом ко мне и чуть откинув голову назад, она на мгновение замирает. Она, несомненно, знает, что я залез на стол и слежу за ней. Я не могу разглядеть выражение ее лица – для этого она слишком далеко. Начинает накрапывать дождь. Во двор, словно по ошибке, залетает стая голубей, и птицы вразной приземляются на несколько метров позади нее. Кэйтлин берет в каждую руку по костылю и чуть расставляет ноги. Теперь мне ясно видно, что ее левой ступни больше нет.

– Лукас! – зовет мать снизу.

– Да? – отзываюсь я, не двигаясь с места.

Кэйтлин продолжает смотреть на меня, пока ее сопровождающий, наполовину скрывшись в машине, достает вещи. Он вытаскивает голубую спортивную сумку в полоску, хочет поставить ее на землю, но, засомневшись, перекидывается парой слов с Кэйтлин и перебрасывает ремень через плечо. Потом снова частично исчезает в салоне и достает два букета цветов.

– Я знаю, что ты там делаешь! – кричит мать.

Слышно, как она поднимается по лестнице. Кошачьим движением я спрыгиваю со стола, изо всех сил приподымаю его и, не задев пола, ставлю на место. На столе лежат два тома – толстые романы, которые дедушка, судя по всему, читал длинными месяцами, предшествовавшими его смерти. Книги сдвинулись с места, и я кладу их обратно. Прежде чем мать достигает двери, я поворачиваю ключ. Она заходит внутрь.

Руки у нее мокрые от залитых дождем стульев. Мать быстро оглядывает комнату и улыбается.

Готова была поклясться, что ты стоял на столе, – говорит она и садится на край незаправленной постели.

Мать вытирает руки о рубашку и вынимает из грудного кармана пачку сигарет.

– Я слышала, что Кэйтлин скоро отпустят домой, – говорит она, щелкая зажигалкой металлического цвета, и кивает головой в направлении слухового окна. – Хорошо, что мы уезжаем. В нижнем городе по-прежнему языками чешут. Как же мне надоел этот проклятый городишко! Может, к следующему лету все, наконец, забудется.

Я молчу, не в силах произнести ни слова, потому что у меня перед глазами еще стоит ампутированная нога, и понимаю, что три недели подряд отказывался себе ее представлять. Я замечаю странный шум у себя в голове, которого раньше не слышал. Это похоже на игру китайского оркестра со множеством колокольчиков, которая затем переходит в какое-то жужжание. Я опускаюсь на стул, чтобы приглушить шум.

Ты уже упаковал вещи? – спрашивает мать, указывая на чемоданы. – Я осмотрела все шкафы, – продолжает она, не дожидаясь ответа. – Ничего нашего тут больше нет. Купальник я оставлю тут, дома он мне все равно не нужен. Но вот что странно: кажется, что теперь в чемодане больше свободного места, чем когда мы приехали. При этом я почти ничего здесь не оставляю. Наоборот, кое-что возьму с собой – вещи, которые мне всегда хотелось забрать и которые *ОН* ни за что бы не отдал. – Мать по-детски сосет сигарету. – Если получится, я бы хотела уехать сегодня вечером. Последний поезд отправляется в двадцать минут восьмого.

Жужжание у меня в голове отзывается эхом среди холмов. Где-то там выкорчевывают дерево и распиливают его на дрова. Я не отвечаю, и мать склоняется ко мне так, что почти касается лицом моего уха. Она так близко, что я вижу стык бумаги на ее сигарете.

– Так ты как раз успеешь попрощаться с Кэйтлин. У меня есть горшок с бегониями, которые тут все равно засохнут. Снаружи, на подоконнике. Скажи, что они от меня.

– Я вчера ее навещал, – быстро отвечаю я.

Доносящийся с холмов вой цепных пил действует на меня странно: я продолжаю слышать его ночами, подобно молодой матери, которая слышит плач младенца, даже когда он давно заснул.

– Мы попрощались.

Мать смотрит на меня так, будто прекрасно понимает, что я вру. У нее из ноздрей вырываются два столба сигаретного дыма. Пепел она ловит свободной рукой.

– И поторопись, – добавляет она, будто не расслышав моего ответа. – Ты еще успеешь застать Кэйтлин в больнице. Когда она вернется домой, сестра Беата тебя не пустит, и все дела. Ты же ее знаешь. После случившегося она даже Коперника перестала пускать.

Коперник – это старый дедушкин кот, который всегда лежит у задней двери, даже когда дом пустует. У него длинные, до земли, усы, и сдвинуть его с места так же просто, как горную цепь. К счастью, его независимость и упрямство растопили сердце сестры, и до недавнего времени она смотрела сквозь пальцы на то, что кот каждый вечер ел из мисок, которые она выставляет в саду для своих кошек. Спустя неделю после случившегося Коперник очень похудел. Однажды мы увидели, как сестра кидает в него камешки, прогоняя из монастырского сада, – с тех пор мы покупаем ему кошачий корм в супермаркете.

Мать встает. Матрас набит старой шерстью, которая не пружинит и при каждом движении испускает запах зимних комнат.

– А то Кэйтлин того и гляди подумает, что ты больше *ne xotieun* ее видеть, – добавляет она полушепотом. В моей голове стоит такой вой, что я даже не решаюсь разжать челюсти. Я киваю, но и это движение причиняет боль. Мать уходит, и я еще несколько минут сижу, уставившись на сигаретный дым, зависший под слуховым окном.

Мать знает не хуже моего: я не могу навестить Кэйтлин. И все же она уже несколько дней посылает меня в нижний город, где находится больница, то с ореховым печеньем собственной выпечки, то с букетом цветов из нашего сада. Каждый раз я завораживал

подарки. Спускался по пастушьей тропе вниз и, добравшись до утеса Шаллона, останавливался и опускался на камень. Просиживал там в задумчивости до самого вечера, постоянно прокручивая перед мысленным взором кадры этого лета под неизменный аккомпанемент цепных пил. Вокруг обычно стелился туман, порой шел дождь. К вечеру я возвращался домой с пустыми руками. Мамины подарки валялись далеко внизу, у подножья утеса.

На этот раз я чувствую себя увереннее. Зная, что Кэйтлин уже дома, я обвязываю ленточкой горшок с бегониями и начинаю спускаться по пастушьей тропе. Кроме того, мне нужно задать докторам и медсестрам вопрос, который не дает мне покоя уже три недели и ответ на который я должен знать. Я сползаю с утеса медленней обычного, потому что руки у меня заняты, и шагаю дальше по извилистой дороге. Похоже, с тех пор как я побывал в нижнем городе в последний раз, – в тот день, когда ходил в полицейский участок, – все изменилось. Опавшие листья достают до щиколотки, а ягоды на кустах источают сладковатый аромат. На плоскогорье, у подножья кипарисов валяются камни, скатившиеся сюда сверху, а обычно жужжащие здесь рои комаров сменили одинокие осы, слетевшиеся на запах гниющих плодов. Я ступаю осторожно. Кэйтлин всегда оказывалась внизу первой: она любила скорость и грохот катящихся камней под ногами. («Почему ты всегда так несешься?» – как-то спросил я ее. «Потому что я рождена для победы», – последовал ответ.)

Дорога кажется короче, но опасней прежнего. Самое трудное ждет меня в конце. Нужно будет пройти через сад месье Оршампа, причем незаметно, иначе придется взбираться обратно в гору, чтобы убежать от размахивающего тросточкой хозяина с

собакой. Лучше всего сначала спрятаться за компостной кучей и убедиться, что путь свободен: Оршамп дома, собака чем-нибудь занята, машин на улице нет. Я скрючиваюсь позади кучи, зажав горшок с бегониями между ботинок, и, пока я жду, на память приходят все те разы, когда мы сидели здесь с Кэйтлин. Из-за вони мы всегда старались убраться отсюда поскорее. Добирались до улицы по грядке с клубникой, перепрыгивали через придорожные клумбы на тротуар и шли дальше, стараясь не выделяться, словно влюбленная парочка.

Вонь невыносима и сегодня. Месье Оршампа нигде не видно, на улице пусто, но я продолжаю сидеть за компостной кучей, будто окаменев. Подмышки потеют. Я жду и никак не могу решиться. На улице я осмеливаюсь выйти только через десять минут.

Вжав голову в плечи, я иду по улицам нижнего города. Мимо меня спешат домохозяйки с корзинками и сумками, мужчины со стремянками, с мешками, усадые и в очках, дети в колясках и на велосипедах. Я жмусь к фасадам домов. Возле литейной мастерской мне кажется, что кто-то окликнул меня по имени, но я не оборачиваюсь и принимаю глубоко задумчивый вид. Я делаю двухкилометровый крюк, чтобы не показываться в Сёркль Мёнье, где в многоквартирных развалюхах живут арабы и где меня точно узнают.

Двери у входа в больницу автоматические. Для других посетителей стеклянные створки раздвигаются, но, когда сквозь них хочу пройти я, на мгновение кажется, будто они захлопнутся прямо у меня перед носом. Оптический «глазок» вовремя замечает меня. Я захожу внутрь и ковыляю по белому мраморному полу, словно конькобежец, не уверенный в прочности льда. Здание мне знакомо. Здесь несколько долгих недель лежал дедушка, прежде чем его отпустили домой умирать. Тут прохладно, повсюду стоят горшки с растениями. Но сегодня больница другая: это нора, в которую, подобно раненому кролику, забилась Кэйтлин. Ее навестили все, кроме меня. Она часами разговаривала с посетителями, может быть, рассказала им все подробности. Все знают всё, и только я – ничего.

Женщина на регистрационной стойке не спрашивает, нужна ли мне помощь. Она скользит по мне взглядом и тут же переводит его на клавиатуру компьютера. Я молчу.

– Фамилия? – нетерпеливо спрашивает она.

– Лукас Бень, – быстро и слегка испуганно отвечаю я.

Она нажимает на пару клавиш и, нахмурившись, изучает появившийся на мониторе список.

– Такого нет, – следует короткий ответ. – И даже не было. Или тебе в родильное отделение? Лукас – новорожденный?

– Нет, – отвечаю я, жадно хватая ртом воздух, и оглядываюсь. Вокруг небольшими группами стоят посетители с цветами в руках. Знакомых среди них нет, но я уверен, что многие из них все знают из прессы. Поскольку делать им нечего, кроме как ждать, пока

я отойду в сторону, они пялятся на меня. Я засовываю руки в карманы, чтобы спрятать бинты.

– Может быть, Мэдоуз? – говорю я так тихо, что приходится повторить.

Звук «д» глухо отскакивает от моего пересохшего нёба.

– Кэйтлин Роуз? – спрашивает она, не поднимая глаз.

В мою сторону оборачивается еще несколько голов. Я переступаю с ноги на ногу и склоняюсь к стойке, притворяясь, что меня чрезвычайно интересует брошюра с тарифами различных типов палат. Регистраторша постукивает шариковой ручкой по экрану.

– Ты не в курсе последних новостей. Мадемуазель Мэдоуз уехала сегодня утром. Ее отпустили на выходные.

– Вот как! – восклицаю я, изображая удивление. – Уехала? В каком же отделении она лежала?

Я стараюсь разглядеть номер ее палаты, но шрифт слишком мелкий.

– В ортопедии, на третьем этаже, но сейчас ее там нет, это точно.

Я благодарю регистраторшу, но она не слышит меня. Она смотрит вверх моей головы на стоящих сзади людей.

– Фамилия? – спрашивает она.

Я отхожу от стойки и направляюсь к лифту в конце коридора.

В лифте я чувствую собственный запах. Металлические двери причудливо искажают мое отражение. В длинном коридоре, простирающемся за открывшимися дверями, пусто. И все же повсюду чувствуется чье-то присутствие. Двери палат распахнуты. Из многих доносится бормотание телевизоров. Я иду и мельком замечаю оборачивающиеся в мою сторону лица, чаще всего пожилых людей с бледной, точно свет, сочащийся сквозь тюлевые занавески, кожей, но попадает и пара молоденьких девушек – ровесниц Кэйтлин, с длинными черными волосами и глубоко посаженными глазами.

Из-за спины доносится скрип выворачивающей в коридор тележки. За ней виднеется медсестра. С каждым шагом деревянные подошвы ее шлепанцев отскакивают от шахматной плитки, и десятки пузырьков на тележке стучатся друг о друга. Я направляюсь к ней и, заметив, что она вот-вот войдет в одну из палат, машу рукой.

– Кэйтлин Мэдоуз? – приблизившись, спрашиваю я.

У медсестры странный цвет лица, словно ей постепенно передаются болезни ее подопечных. У нее покрасневшие веки и кожа на голове, по линии роста волос. Форму она надела на голое тело.

– Ее отпустили на выходные.

– Вы за ней ухаживали?

– А ты кто такой? Дружок, что ли?

– Двоюродный брат, – находчиво вру я. – Я только с каникул вернулся. Думал ее здесь найти.

– Она уехала утром.

– Как она себя чувствует? – спрашиваю я, преграждая ей путь. Немедленно осознав свою навязчивость, я делаю шаг назад. – Ей очень больно?

– Ох! – вздыхает медсестра. – Ей выписали обезболивающее. Но дело не в боли.

Она сортирует пузырьки на тележке по цвету крышечек. Я киваю, словно знаю обо всем не понаслышке.

– Дело, конечно, в шоке, – с понимающим видом говорю я.

– Она знает, что жаловаться ей грех. Она могла погибнуть.

– Она могла погибнуть, – повторяю я.

Из палаты выходит другая медсестра. Она чуть выше ростом, форма на ней не белая, а голубая. Волосы стянуты в узел на затылке, на ногах – такие же шлепанцы, как у первой. Она подходит к нам с небольшим подносом в руках. Поначалу она притворяется, что не замечает меня, но потом заглядывает мне прямо в глаза и спрашивает:

– А ты разве не тот парень, что....

Первая медсестра, в белом, смотрит на меня так, будто ветер внезапно переменялся, и она учуяла меня впервые.

– Точно! – восклицает она. – Я твою фотографию в газете видела. Никакой ты не двоюродный брат! Ты ее парень... Лукас Бень, если не ошибаюсь.

Она хватает меня за руку и жмет ее.

– Ее, конечно, мучают фантомные боли, – сообщает она почти шепотом, словно в этом есть что-то неприличное. – Знаешь, постоянная боль в суставах стопы, которой больше нет. Это все перерезанные нервы. Они продолжают передавать сигналы в мозг, а мозг-то, понятное дело, не знает, что эта ступня... отпилена. – На последнем слове она слегка спотыкается.

Высокая медсестра опускает глаза и сразу же поднимает их, словно ей в голову вдруг пришло что-то важное:

– Вообще-то ты пораньше должен был прийти, я считаю. Сколько уже прошло времени? Три-четыре недели?

Белая уверенно кивает. Внезапно они начинают говорить быстро, по очереди, их голоса становятся все более пронзительными.

– Она постоянно у всех спрашивала, как именно это произошло.

– Все, что она про тебя знала, она узнала из газет. Она так часто о тебе спрашивала!

– Полицейские, те тоже рассказали ей только сухие факты, официальную версию, но Кэйтлин, понятное дело, хотелось большего.

– Она тебе не звонила? Она каждое утро собиралась тебе позвонить, но, когда давали линию, говорила, что уже не нужно.

– Вообще-то, в голове у нее была путаница. Когда пришли из пожарной инспекции и сообщили, что тебя хотят наградить, она целый день ничего не ела.

Слушать их мне невыносимо трудно. Их голоса эхом отражаются от кафельных стен, слов не разобрать. Вдобавок у меня в ушах снова звучит вой. Заглянув в палату, я понимаю, отчего: по телевизору показывают боевик, в котором Шварценеггер с ревущими моторами мчится по дрожащему асфальту. В кадре – то его сжатые челюсти, то ступня на педали газа. Я вспоминаю, что пришел сюда, чтобы задать один вопрос.

– А ступня? – спрашиваю я, когда в разговоре наступает пауза. – Ее левая ступня. Что с ней сделали?

Они пялятся на меня, будто у меня из носа свисает что-то отвратительное. Первой дар речи обретает высокая медсестра, та, что в голубом.

– Ну, что делают с подобными вещами? Если произошел несчастный случай или что-то в этом роде – понятное дело, не при обычной ампутации, – то сначала забирают в полицию для изучения, а потом сжигают.

– В больничной печи. Вместе со всем, что некуда девать: пробами крови, тканей и тому подобным, – добавляет белая.

– Сжигают?! – вскрикиваю я, и сразу понимаю, что здесь кричать не полагается.

Но иначе я не могу. Я поражен. Ее ступню бросили в огонь! А я ведь сделал все, что мог, чтобы ступня не загорелась!

Разговор длится недолго. Больные нуждаются в уходе, а после смены медсестрам нужно спешить домой, к семье. Перед тем как попрощаться, они напоминают мне, что Кэйтлин часто обо меня спрашивала. Они берут с меня обещание, что я ее навещу и расскажу, как все было.

Всю дорогу домой я веду мысленную беседу с Кэйтлин. Я пытаюсь вспомнить, как все началось, и понимаю, что для этого придется вернуться назад, в прошлую зиму.